

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



Антон
ЧЕХОВ

Человек
в футляре

АНТОН ЧЕХОВ

Человек в футляре (сборник)

«Public Domain»

Чехов А. П.

Человек в футляре (сборник) / А. П. Чехов — «Public Domain»,

ISBN 5-17-031957-6

Антон Павлович Чехов – один из величайших писателей и драматургов не только отечественной, но и мировой литературы, тончайший психолог, ироничный юморист, непревзойденный певец загадочной русской души во всем ее эмоциональном диапазоне, в котором от смешного до драматического – всего один шаг. В сборник вошли наиболее известные повести и рассказы Чехова – произведения забавные и трагические, порой прозрачно-поэтичные, порой саркастично-едкие. Щемящие и тонкие истории «несбывшейся любви» – «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Ионыч». Безжалостные в своей психологической обнаженности «женские и мужские портреты» – «Душечка», «Анна на шее», «Попрыгунья», «Крыжовник»... С детства знакомые печально-добрые «Ванька» и «Каштанка», откровенно, захлеб смешные «Мальчишки», «Лошадиная фамилия», «Хирургия» – и многое, многое другое!

ISBN 5-17-031957-6

© Чехов А. П.

© Public Domain

Содержание

Письмо к ученому соседу	5
Радость	8
Загадочная натура	10
Смерть чиновника	12
Толстый и тонкий	14
Экзамен на чин	16
Хирургия	19
Хамелеон	21
Надлежащие меры	23
Маска	26
Дачники	29
Лошадиная фамилия	31
Унтер Пришибеев	34
Тапер	37
Тоска	40
Переполюх	43
Анюта	47
Ведьма	50
Шуточка	57
Мечты	60
Ванька	65
Письмо	68
Мальчики	74
Каштанка	78
Глава первая	78
Глава вторая	80
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Антон Чехов

Человек в футляре (сборник)

Письмо к ученому соседу

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка.

Максим... (забыл как по батюшке, извините великодушно!) Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифов познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимум понтифекс¹ отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на шот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например

¹ Верховный жрец (от *лат.* pontifex maximus).

Амвросий, живший во время оно в царстве Польском был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоахимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неуча за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помешаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об луне, т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне, т. е. на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосыгаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятна, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестизэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне дорогой соседусшко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие нибудь умные книги

привезли. Она у меня эманципированная все у ней дураки только она одна умная. Молодежь теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже то значит в кабаке анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извините меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

Василий Семи-Булатов.

1880

Радость

Было двенадцать часов ночи.

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

– Откуда ты? – удивились родители. – Что с тобой?

– Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.

– Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!

Сестра прыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

– Что с тобой? На тебе лица нет!

– Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.

– Да что такое случилось? Говори толком!

– Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

– Что ты? Где?

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.

– Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.

– Читайте!

Отец надел очки.

– Читайте же!

Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:

– «29 декабря, в 11 часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...

– Видите, видите? Дальше!

– ...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...

– Это я с Семеном Петровичем... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

– ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них вторым гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...

– Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

– ...который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь...»

– Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.

– Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

1883

Загадочная натура

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, *pinse-nez* то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована... Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающийся в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» – из великосветской жизни... Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает... Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

– О, я постигаю вас! – говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. – Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта... Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

– Опишите меня, Вольдемар! – говорит дамочка, грустно улыбаясь. – Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра... Но главное – я несчастна! Я страдальца во вкусе Достоевского... Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы – психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

– Говорите! Умоляю вас, говорите!

– Слушайте! Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но... дух времени и среды... *vous comprenez*,² я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты... брал взятки... Мать же... Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете... К несчастью, я наделена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком – в этом я видела свое счастье!

– Чудная! – лепечет писатель, целуя руку около браслета. – Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольников? Он так целовал.

– О, Вольдемар! Мне нужна была слава... шум, блеск, как для всякой – к чему скромничать? – недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного... не женского! И вот... И вот... подвернулся на моем пути богатый старик-генерал... Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро... А как я страдала, как невыносимы, низкомерно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты... ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива... А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

– Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо... Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но... нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой... отдохнуть... Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я

² Вы понимаете (*фр.*)

несчастлива, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

– Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

– Другой богатый старик...

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многоточную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки...

1883

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

– Ничего, ничего...

– Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал.

– Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

– Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!...»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публичке держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый мундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

– Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал соорудил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

– Пошел вон!!! – гаркнул вдруг посипевший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафана, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафана! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?

– Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговицы своего мундира...

– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте... Что вы-с... – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

1883

Экзамен на чин

– Учитель географии Галкин на меня злобу имеет, и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамена, – говорил, нервно потирая руки и потя, приемщик X-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. – Не выдержу... Это как бог свят... А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится... Хотя он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дождитесь, говорю, очереди, милостивый государь». Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»

Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней X-го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:

– Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!

Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной, бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.

Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменуемым впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперсным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.

Проекзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проекзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова...

– Вы где служите? – обратился к нему инспектор.

– Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, – проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. – Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

– Так-с... Напишите диктант.

Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменуемого на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша холодная вада, кагда хочица пить» и проч.

Но как ни изошрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще», но ведь все это не грубые ошибки.

– Диктант удовлетворителен, – сказал инспектор.

– Осмелюсь довести до сведения вашего высочородия, – сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, – осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приехавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию... всё как есть...

– Стереометрии по программе не полагается.

– Не полагается? А я месяц над ней сидел... Этакая жалость! – вздохнул Фендриков.

– Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География – наука почтальонов.

Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:

– Э... скажите мне, какое правление в Турции?

– Известно какое... Турецкое...

– Гм!.. турецкое... Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?

– Я географию Смирнова учил и, извините, не отчетливо выучил... Ганг, это которая река в Индии течет... река эта течет в океан.

– Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно... Какой губернии Житомир?

– Тракт восемнадцать, место сто двадцать один.

На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.

– Как перед истинным Богом, ваше высочородие, – забормотал он. – Даже отец протоиерей могут подтвердить... Двадцать один год прослужил, и теперь это самое, которое... Век буду Бога молить...

– Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?

– И арифметику не отчетливо... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Век буду Бога молить... С самого Покрова учусь, учусь и... ничего толку... Постарел для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высочородие, заставьте вечно бога молить.

На ресницах у Фендрикова повисли слезы.

– Прослужил честно и беспорочно... Говею ежегодно... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Будьте великодушны, ваше высочородие.

– Ничего не приготовили?

– Все приготовил-с, но ничего не помню-с... Скоро шестьдесят стукнет, ваше высочородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!

– Уж и шапку с кокардой себе заказал... – сказал протоиерей Змижежалов и усмехнулся.

– Хорошо, ступайте!.. – сказал инспектор.

Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

– Экая жалость! – бормотал он. – Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!

– Да что такое? – спросил Пивомедов.

– Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!

1884

Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

– Ааа... мое вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали?

– С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворяю». Сел намедни со старухой чай пить и – ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку – и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

– Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

– Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост...

– Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

– Вам лучше знать, Сергей Кузьмич, на то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

– Пустяки... – скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. – Хирургия – пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьею ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

– Ну-с, раскройте рот пошире... – говорит он, подходя с щипцами к дьячку. – Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

– Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил...

– Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот – раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

– Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

– Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь нелегкое...

– Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь!

– Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты – и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

– Тянул! – говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. – Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

– А ты зачем руками хватаешь? – сердится фельдшер. – Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

– Сам ты дура!

– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

– Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тани только долго, а дергай. Ты не тани, а дергай... Сразу!

– Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

– Было б мне козьей ножкой... – бормочет фельдшер. – Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

– Парршивый черт... – выговаривает он. – Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

– Поругайся мне еще тут... – бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. – Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пуцай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватается собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пуцай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пуцай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевелищу... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

– Гм!.. Хорошо... – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставляю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городскому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом... А ежели я вру, так пуцай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городской. – У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие...

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И такую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

– А может быть, и генеральская... – думает вслух городской. – На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Оно бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости...

– Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма, цуцик этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Надлежащие меры

Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городского врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые... Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:

– Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!

– С кого бы нам начать? – обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. – Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и... во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет... Жена так и не ела!

– Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, – говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.

– М-да-с... – говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. – Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э... э... э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!

– От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! – резонно замечает хозяин.

– Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.

– Для кого поблагородней мы особый нож держим. Будьте покойны-с... Что вы-с...

Полицейский надзиратель шурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:

– А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?

– Что вы-с... Помилуйте-с... Нешто можно-с!

Надзиратель конфузится, отходит от окорока и шурит глаза на прейскурант Асмолова и К°. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое... Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.

– Кисаньки... кисаньки! Манюнечки мои! – лепечет он. – Лежат в крупе и мордочки подняли... нежатся... Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!

– Это можно-с... А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть... Селедки вот, сыр... балык, изволите видеть... Балык в четверг получил, самый лучший... Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезают по куску балыка и, понюхав, пробуют.

– Закушу уж и я кстати... – говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. – Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить... Другой вкус тогда... Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

– Пить натошак... – говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. – Впрочем, ежели по одной... Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде... Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.

– Держи вправо!.. Тяни за край... тяни, тяни! Брусок подложи... а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!

Бочонок застревает в дверях и – ни с места... Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.

– Тыфу! – плюет надзиратель. – Пойдемте к Шibuкину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шibuкинскую лавку санитары находят запертой.

– Да ведь она же была отперта! – удивляются санитары переглядываясь. – Когда мы к Ошейникову входили, Шibuкин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? – обращаются они к нищему, стоявшему около запертой лавки.

– Подайте милостыньку, Христа ради, – сипит нищий, – убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели... родителям вашим...

Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они недаром: один из городских, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.

– Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, – говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». – Подкрепиться бы.

– М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!

Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

– Жаль, что закусить нечем, – говорит торговый депутат, выпивая и морщась. – Огурчика дал бы, что ли... Впрочем...

Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.

– Ах... тут есть и не очень гнилые! – как бы удивляется надзиратель. – Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток... Какие лучше – мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества – Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!

..

– Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? – спрашивает городской надзирателя, выходящего с компанией из погреба.

– Ло... лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками... потому – зараза!

– Яблоки вы изволили скушать!

– А-а... очень приятно! Послушш... поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась... Я только на часок... к Плюнину спать... Понимаешь? Спать... объятия Морфея... Шпрехен зи деич, Иван Андреич.

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:

– Так и вся жизнь наша!

1884

Маска

В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей.³

Было двенадцать часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок – их было пять душ – сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, – «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

– Здесь, кажется, удобнее будет! – вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. – Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутылка с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

– Сюда! Здесь и прохладнее будет, – сказал мужчина. – Становь поднос на стол... Садитесь, мамзели! Же ву при а-ля три-монтран! А вы, господа, подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

– Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой... Бросайте!

– Я просил бы вас потише, – сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. – Здесь читальня, а не буфет... Здесь не место пить.

– Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главное всего – я не желаю и все тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

– И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, – начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. – А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те – на него.

– Вы забываетесь, милостивый государь! – вспыхнул он. – Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

– А плевать мне, что ты – Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

– Господа, что же это такое? – пробормотал Жестяков, обомлев. – Это странно, это... это даже сверхъестественно...

– Они рассердившись, – засмеялся мужчина. – Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно... Потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить,

³ Парадный бал (от *фр.* bal pare).

то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйста-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

– То есть как же это? – спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. – Я даже не понимаю... Какой-то нахал врывается сюда и... вдруг этикие вещи!

– Какое это такое слово нахал? – крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. – Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!

– А вот мы сейчас увидим! – сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. – Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

– Прошу вас выйти! – начал он. – Здесь не место пить! Пожалуйста в буфет!

– Ты откуда это выскочил? – спросил мужчина в маске. – Нешто я тебя звал?

– Прошу не тыкать, а извольте выйти!

– Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку... Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний... Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

– Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! – крикнул Жестяков. – Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

– Евстрат Спиридоныч! – понеслось по клубу. – Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

– Прошу вас выйти отсюда! – прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабранными усами.

– А ведь испугал! – проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. – Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил... Хе-хе-хе!

– Прошу не рассуждать! – крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. – Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и публика повалила из залы к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

– Пиши, пиши, – говорила маска, тыча пальцем ему под перо. – Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что же? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз... два... три!!

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крикнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению.

– Что ж, уйдете или нет? – спросил Пятигоров после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.

– Ты же ведь знал, что это Пятигоров! – хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. – Отчего ты молчал?

– Не велели сказывать-с!

– Не велели сказывать... Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!! А вы-то хороши, господа, – обратился он к интеллигентам. – Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа... Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе... Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

– Не играйте! – замахали старшины музыкантам. – Тсс!.. Егор Нилыч спит...

– Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? – спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

– Не прикажете ли вас домой проводить, – повторил Белебухин, – или сказать, чтоб экипажик подали?

– А? Ково? Ты... чево тебе?

– Проводить домой-с... Баиньки пора...

– До-домой желаю... Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

– Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, – весело говорил Жестяков, подсаживая его. – Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.

– Мне руку подал на прощанье, – проговорил Жестяков, очень довольный. – Значит, ничего, не сердится...

– Дай-то бог! – вздохнул Евстрат Спиридоныч. – Негодяй, подлый человек, но ведь – благодетель!.. Нельзя!..

1884

Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель...

– Как хорошо, Саша, как хорошо! – говорила жена. – Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди... цивилизация... А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

– Да... Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у нас сегодня к ужину готовили?

– Окрошку и цыпленка... Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами...

– Поезд идет! – сказала Варя. – Как хорошо!

Вдали показались три огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

– Проводим поезд и пойдем домой, – сказал Саша и зевнул. – Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи...

– Ах! Ах! – послышалось из одного вагона. – Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

– А вот и мы, а вот и мы, дружок! – начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. – Чай, заждался! Небось бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа... дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих...

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

– Это они к тебе приехали... черт бы их побрал!

– Нет, к тебе! – отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. – Это не мои, а твои родственники!

И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

– Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

– Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

1885

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, – сказал он, – лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена...

– Где же он теперь?

– А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

– Ерунда! Шарлатанство!

– А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

– Пошли, Алеша! – взмолилась генеральша. – Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

– Ну, ладно, – согласился Булдеев. – Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

– Его в Саратове каждая собака знает, – сказал приказчик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

– Ну?

– Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

– Ну, что же? Скорей думай!

– Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылий? Нет, не Кобылий. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из головы вышибло...

– Жеребятников?

– Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

– Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

– Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

– Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

– Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

– Коренников? – спросила генеральша.

– Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

– Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? – рассердился генерал. – Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
– Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:
– Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

– Вспомнил? – спросил генерал.

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию.

Приказчика то и дело требовали в дом.

– Табунов? – спрашивали у него. – Копытин? Жеребовский?

– Никак нет, – отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: – Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

– Папа! – кричали из детской. – Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

– Гнедов! – говорили ему. – Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

– Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом.

– Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

– Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

– Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

– Пускай рвет! – решил он. – Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

– Буланов... Чересседельников... – бормотал он. – Засупонин... Лошадский...

– Иван Евсеич! – обратился к нему доктор. – Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

– Надумал, ваше превосходительство! – закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

– На-кося! – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

1885

Унтер Пришибеев

– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю – стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? – спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело народ разгонять?

– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утопый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утопый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину сле-

дователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.

– Сказывал.

– Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему... Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничивать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер», – и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?... Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

– Позвольте! За непорядком есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

– Но поймите, что это не ваше дело!

– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалются вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

– Что у вас записано?

– Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

– «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и

говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

– Народ, расходишь! Не толпись! По домам!

1885

Тапер

Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг открывается дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик М-ой консерватории, Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова; потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает.

– Отчего ты так рано? – спрашиваю я. – Ведь еще только два часа! Разве свадьба уже кончилась?

Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать.

– Спи же, с-скотина! – слышу я через десять минут его шепот. – Лег, ну и спи! А не хочешь спать, так... ну тебя к черту!

– Не спится, Петя? – спрашиваю я.

– Да, черт его знает... не спится что-то... Смех разбирает... Не дает смех уснуть! Ха-ха!

– Что же тебе смешно?

– История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории!

Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня.

– Смешно и... совестно... – говорит он, ероша свою прическу. – Отродясь, братец ты мой, не испытывал еще таких пассажей... Ха-ха... Скандал – первый сорт! Великосветский скандал!

Рублев бьет себя кулаком по колену, вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу.

– В шею дали! – говорит он. – Оттого и пришел рано.

– Полно, что врать-то!

– Ей-богу... В шею дали – буквально!

Я гляжу на Рублева... Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой.

– Скандал первостатейный... Шел домой и всю дорогу хохотал. Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь, вылью все из души, может, не так... смешно будет!.. Брось! История интересная... Ну, слушай же... На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах... Аристократ, стало быть... Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова... Этот Ескимосов парвеню⁴ и мовежанр,⁵ свинья в ермолке и моветон, но папаше с дочкой манже и буар⁶ хочется, так что тут некогда рассуждать о мовежанрах. Отправляюсь я сегодня в девятом часу к Присвистову таперствовать. На улицах грозища, дождь, туман... На душе, по обыкновению, гнушно.

– Ты покороче, – говорю я Рублеву. – Без психологии...

– Ладно... Прихожу к Присвистову... Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту – роялю – и сажусь.

– А, а... вы пришли! – увидел меня хозяин. – Так вы уж, любезный, смотрите: играть как следует, и главное – не напиваться...

– Я, брат, привык к таким приветствиям, не обижаюсь... Ха-ха... Назвался груздем, полезай в кузов... Не так ли? Что я такое? Тапер, прислуга... официант, умеющий играть!..

⁴ Выскочка (фр.).

⁵ Человек дурного тона, плохо воспитанный (фр.).

⁶ Есть и пить (фр.).

У купцов тыкают и на чай дают, и – нисколько не обидно! Ну-с, от нечего делать, до танцев начинаю побринкивать этак слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погода, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает. Оглядываюсь – барышня! Стоит, бес-тия, сзади меня и на клавиши умильно глядит. «Я, говорю, mademoiselle,⁷ и не знал, что меня слушают!» А она вздыхает и говорит: «Хорошая вещь!» – «Да, говорю, хорошая... А вы нешто любите музыку?» И завязался разговор... Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. «Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой». Я, дуррак, болван, рад, что на меня обратили внимание... осталось еще это гнусное самолюбие!.. принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей... Зафилософствовался!

– В чем же скандал? – спрашиваю я Рублева. – Влюбился, что ли?

– Выдумал! Любовь, это – скандал личного свойства, а тут, брат, произошло нечто всеобщее, великосветское... да! Беседую я с барышней и вдруг начинаю замечать что-то неладное: за моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся... Слышу слово «тапер», хихиканье... Про меня, значит, говорят... Что за оказия? Не галстук ли у меня развязался? Пробую галстук – ничего... Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор... А барышня горячится, спорит, раскраснелась вся... Так и чешет! Такую критику пустила на композиторов, что держись шапка! В «Демоне» оркестровка хороша, а мотивов нет, Римский-Корсаков барабанщик, Варламов не мог создать ничего цельного и проч. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку за урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать... Так и моя барышня... Я слушаю и не оспариваю... Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелит... Ну а сзади-то всё бормочут, бормочут... И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая пава, из породы маменек или тетенок, солидная, багровая, в пять обхватов... не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо... Слушай же... Барышня вспыхивает, хватается за щеки и как ужаленная отскакивает от рояля... Что за оказия? Мудрый Эдип, разреши! Ну, думаю, наверное, или фрак у меня на спине лопнул, или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через десять в переднюю оглядеть свою фигуру... оглядываю галстук, фрак, тралала... все на месте, ничего не лопнуло! На мое счастье, братец, в передней стояла какая-то старушонка с узлом. Все мне объяснила... Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении. «Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать, – рассказывает она какому-то лакею. – Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким... ахи да смехи, а молодец-то этот, выходит, не гость, а тапер... из музыкантов... Вот тебе и поговорила! Спасибо Марфе Степановне, шепнула ей, а то бы она чего доброго и под ручку с ним бы прошлась... Теперь и совестно, да уж поздно: слов не воротишь...» А? Каково?

– И девчонка глупа, – говорю я Рублеву, – и старуха глупа. Не стоит и внимания обращать...

– Я и не обратил внимания... Только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажирам... Прежде действительно больно было, а теперь – плевать! Девчонка глупая, молодая... ее же жалко! Сажусь я и начинаю играть танцы... Серьезного там ничего не нужно... Знай себе закатываю вальсы, кадрили-монстры да гремучие марши... Коли тошно твоей музыкальной душе, то поди рюмочку выпей, и сам же выиграешься от «Боккачио».

– Но в чем собственно скандал?

– Трещу я на клавишах и... не думаю о девочке... Смеюсь и больше ничего, но... ковыряет у меня что-то под сердцем! Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет... Отчего мне грустно и гнусно, сам не пойму... Убеждаю себя, браню, смеюсь... подпеваю своей музыке, но саднит мою душу, да как-то особенно саднит... Повернет этак в груди,

⁷ Барышня (*фр.*).

ковырнет, погрызет и вдруг к горлу подкатит этак... точно ком... Стиснешь зубы, пережدهшь, а оно и оттянет, потом же опять сначала... Что за комиссия! И как нарочно, в голове самые что ни на есть подлые мысли... Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла... Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы и пианисты и попал в таперы... В сущности ведь это естественно... даже смешно, а меня тошнит... Вспомнился мне и ты... Думаю: сидит теперь мой сожитель и строчит... Описывает, бедняга, спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду... описывает именно то, что давным-давно уже описано, изжевано и переварено... Думаю я, и почему-то жалко мне тебя... до слез жалко!.. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы... нет азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель, Христос тебя знает! Вспомнились все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители... Все это когда-то кипело, копошилось, парило в поднебесье, а теперь... черт знает что! Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю! Гоню из головы себя, приятели лезут; приятелей гоню, девчонка лезет... Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее ни в грош, но не дает она мне покоя... И что это, думаю, за черта у русского человека! Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать, но как только ты стал в мало-мальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток... Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает... Подкатит, сожмет и этак... сдавит... В конце концов чувствую на своих глазах жидкость, «Боккачио» мой обрывается и... все к черту. Благородная зала оглашается другими звуками... Истерика...

– Врешь!

– Ей-богу... – говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться. – Каков скандал? Засим чувствую, что меня влекут в переднюю... надевают шубу... Слышу голос хозяина: «Кто напоил тапера? Кто смел дать ему водки?» В заключение... в шею... Каков пассаж? Ха-ха... Тогда не до смеха было, а теперь ужасно смешно... ужасно! Здоровила... верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг – истерика! Ха-ха-ха!

– Что же тут смешного? – спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. – Петя, ради бога... что тут смешного? Петя! Голубчик!

Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бросаюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду.

1885

Тоска

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих лошадей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик! Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Прправа держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня лежал в больнице и помер... Божья воля.

– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Повылазило, что ли, старый пес! Гляди глазами!

– Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается

на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный – цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак – для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

– Гы-ы... гы-ы... – хохочет Иона. – Какая есть...

– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

– Голова трещит... – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.

– Накажи меня бог, правда...

– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!

– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлепать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

– Все помер... – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

– А ты его легонечко подбодри... в шею!

– Старая холера, слышишь? Ведь шею наkostenяю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

– Гы-ы... – смеется он. – Веселые господа... дай бог здоровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.

– Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.

– Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невольно.

«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крикает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.

– Стало быть, пить!

– Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анистья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

– Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...

Переполох

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Пушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок... – подумала Машенька, – или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало... Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

– О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

– Pardon,⁸ я... я нечаянно рассыпала... зацепила рукавом...

И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель – все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

– Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? – спросила у нее гувернантка.

– У барыни пропала брошка в две тысячи... – сказала Лиза.

– Да, но зачем же меня обыскивать?

– Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед Богом... Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

– Но... зачем же меня обыскивать? – продолжала недоумевать гувернантка.

– Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как

⁸ Извините (фр.).

курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли. Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

– Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! – сказала Машенька, задыхаясь от негодования. – Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

– В чужих людях живете, барышня, – вздохнула Лиза. – Хоть вы и барышня, а всё же... как бы прислуга... Это не то, что у папаши с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную девушку, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет?! В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... – думала Машенька, дрожа. – Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого – от страха, стыда, от обиды – началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

– Пожалуйста кушать! – позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим – Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

– Что у нас к третьему блюду? – спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

– Эстуржон а-ля русс!⁹ – ответил лакей.

– Это, Феня, я заказал... – поторопился сказать Николай Сергеич. – Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, та chère,¹⁰ то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

– Ну, перестанем волноваться, – сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко. – Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

– Мне не жалко двух тысяч! – ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. – Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня – это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

⁹ Стерлядь по-русски! (От *фр.* de l'esturgeon à la russe.)

¹⁰ Моя дорогая (*фр.*).

– Pardon, – пробормотала она. – Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко, гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

– Бог знает что! – проговорил Николай Сергеич морщась. – Нужно было делать у нее обыск! Как это, право... некстати.

– Я не говорю, что она взяла брошку, – сказала Федосья Васильевна, – но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

– Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

– Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и все. И я найду эту брошку! – Она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. – А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, в действительности же оставалось только одно – поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

– Можно войти? – спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим мягким голосом. – Можно?

– Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

– Это что же? – спросил он, указывая на корзину.

– Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

– Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

– Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

– Если уж вы так оскорблены, – продолжал Николай Сергеич, – то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

– Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

– Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

– Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, – сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. – Зачем же вам мучиться?

– Конечно... Но вы все-таки того... не уезжайте... Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

– Для меня подобные недоразумения – это чистая пытка, – проговорил он. – Что же, мне на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже пред смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

– Я взял у жены брошку! – быстро сказал Николай Сергеич. – Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

– И удивляться нечего... – продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. – Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... все мое! А она забрала, завладела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прошу вас убедительно, извините и... и оставайтесь. *Tout comprendre, tout pardonner.*¹¹ Остаетесь?

– Нет! – сказала Машенька решительно, начиная дрожать. – Оставьте меня, умоляю вас.

– Ну, бог с вами, – вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. – Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю... Иначе и быть не может... Да, конечно... Вам-то хорошо, а вот мне так – тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты... управляющие, агрономы, черт бы их взял... Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

– Николай Сергеич! – послышался из залы голос Федосьи Васильевны. – Агния, позови барина!

– Так не остаетесь? – спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. – А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Оставайтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

1886

¹¹ Все понять, все простить (*фр.*).

Анюта

В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилища, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет двадцати пяти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная... Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу – все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано...

– Правое легкое состоит из трех долей... – зубрил Клочков. – Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребер, на боковой поверхности до четвертого ребра... назади до *spina scapulae*...¹²

Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

– Эти ребра похожи на рояльные клавиши, – сказал он. – Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке... А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.

– Гм... Первое ребро не прощупывается... Оно за ключицей... Вот это будет второе ребро... Так-с... Это вот третье... Это вот четвертое... Гм... Так-с... Что ты жмешься?

– У вас пальцы холодные!

– Ну, ну... не умрешь, не вертись... Стало быть, это третье ребро, а это четвертое... Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе... это третье... Нет, этак спутаешься и не представишь себе ясно... Придется нарисовать. Где мой уголек?

Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.

– Превосходно. Все как на ладони... Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!

Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.

– Теперь все ясно, – сказал Клочков, перестав стучать. – Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко.

И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съездившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала...

За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все они уже покончили курсы, вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков – шестой... Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару оста-

¹² До ости лопатки (лат.).

лось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку.

– Можно войти? – послышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов.

– А я к вам с просьбой, – начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. – Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!

– Ах, с удовольствием! – согласился Клочков. – Ступай, Анюта.

– Чего я там не видела! – тихо проговорила Анюта.

– Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?

Анюта стала одеваться.

– А что вы пишете? – спросил Клочков.

– Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит; приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите! Счастливый человек, терпение есть.

– Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки.

– Гм... Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете! Черт знает как живете!

– То есть как? Иначе нельзя жить... От бабки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

– Так-то так... – сказал художник и брезгливо поморщился, – но можно все-таки лучше жить... Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут черт знает что! Постель не прибрана, помои, сор... вчерашняя каша на тарелке... тьфу!

– Это правда, – сказал медик и сконфузился, – но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята.

Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа, потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины, – и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой... И он решил расстаться с ней, немедленно, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:

– Вот что, моя милая... Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою я больше не желаю.

Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.

– Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, – сказал медик. – Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь...

Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; сверток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг.

– Это ваше... сахар... – тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

– Ну, что же ты плачешь? – спросил Клочков.

Он прошелся по комнате в смущении и сказал:

– Странная ты, право... Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе.

Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее.

«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? – подумал он. – В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти».

И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:

– Ну, что же стоишь? Уходить так уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции – к табурету у окна.

Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.

– Правое легкое состоит из трех долей... – зубрил он. – Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребер...

А в коридоре кто-то кричал во все горло:

– Грригорий, самовар!

1886

Ведьма

Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал... Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей гибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало... Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо сквозь темную ночь не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный... Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.

– Я зна-аю! – бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. – Я все знаю!

У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости – ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне... На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает...

– Поди ложись! – проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

– Что?

– Ничего... Кажись, кто-то едет... – тихо ответила дьячиха.

Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по включенной жесткой голове.

– Слышишь? – спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

– Это почта... – проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.

– Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! – вздохнула дьячиха.

– Дело казенное. Хочешь не хочешь, поезжай...

Стон подержался в воздухе и замер.

– Проехала! – сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, прыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

– Не слышать... – пробормотал дьячок, останавливаясь и шуря на жену глаза.

Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнел, крикнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

– Почту кружит! – прохрипел он, злобно косясь на жену. – Слышишь ты? Почту кружит!.. Я... я знаю! Нешто я не... не понимаю? – забормотал он. – Я все знаю, чтоб ты пропала!

– Что ты знаешь? – тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.

– А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит... все это ты наделала! Ты!

– Бесишься, глупый... – покойно заметила дьячиха.

– Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!

– Тьфу! – удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. – Да ты перекрестись, дурень!

– Ведьма и есть ведьма, – продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. – Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть... Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель, и – что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломало, и урядника принесло... Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба раза охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Все! О, красней рака стала! Ага!

– Ничего ты не видел...

– Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла... помнишь? – писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал... И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая... Добро бы, красивый был, а то – тьфу! – сатана.

Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало.

– И теперь тоже! – продолжал Савелий. – Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

– Вот дурень! – усмехнулась дьячиха. – Что ж, по твоему по дурацкому уму, я ненастье делаю?

– Гм... Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

– О безумие! О Иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!

– Да и глупый же ты, Савелий! – вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. – Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясушки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

– Не то чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся... Почему такое? И пушай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас – ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской – у-у-у! – спаси, царица небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!

– Да что ты пристал ко мне, окаянный? – вышла из терпения дьячиха. – Что ты пристал ко мне, смола?

– А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дядьково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм... желаете знать почему? Извольте... Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на Страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

– Ради бога, пустите погреться! – послышался дрожащий густой бас. – Кто тут есть? Сделайте милость!

С дороги сбились!

– А кто вы? – спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

– Почта! – ответил другой голос.

– Недаром дьяволила! – махнул рукой Савелий. – Так и есть! Моя правда... Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая...

– И тюки вносить? – спросила вторая хриплым басом.

– Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, ставив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.

Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.

– Собачья жизнь! – проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. – Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было... И чума его знает, когда все это кончится! Конца-краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? – спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

– На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, – ответила дьячиха, встреपунувшись и краснея.

– Слышь, Степан? – повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. – Мы на Гуляевский бугор попали!

– Да... далече!

Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и немного погодя внес другой тюк, поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

– Может, с дороги чаю покусаете? – спросила дьячиха.

– Куда тут чаи распивать! – нахмурился почтальон. – Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите...

– Наказал бог погодой! – вздохнула дьячиха.

– М-да... Вы же сами кто тут будете?

– Мы? Тутешние, при церкви... Мы из духовного звания... Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и... заместо сторожа. Ему поручено за церковью глядеть...

И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.

– Все-таки мы духовного звания... – добавила дьячиха.

– Чем же вы живете? – спросил почтальон.

– При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится... – вздохнула дьячиха. – Дядькинский отец Никодим, завидующие глаза, служит тут на Николу летнего, да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Заступиться некому!

– Врешь! – прохрипел Савелий. – Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу!

– Какой он у тебя сердитый! – усмехнулся почтальон. – А давно ты замужем?

– С прощенного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтоб мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.

– Ага, стало быть, ты одной хлопущкой двух мух убил! – сказал почтальон, глядя на спину Савелия. – И место получил, и жену взял.

Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, положил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.

– Собачья жизнь... – пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. – И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании выпускал густое, протяжное «к-х-х-х...». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.

– Ну, чего воззрилась? – сердито прошептал Савелий.

– А тебе что? Лежи! – ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.

Савелий сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дьячок крикнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.

– Зачем ты это? – спросила дьячиха.

– Чтоб огонь ему в глаза не бил.

– А ты огонь совсем потуши!

Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.

– Ну не хитрость ли бесовская? – воскликнул он. – А? Ну есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?

– А, сатана длиннополая! – прошипела дьячиха, поморщившись от досады. – Погоди же!

И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.

– Хоть я и длиннополый нечистый дух, – проговорил, немного постояв, Савелий, – а тут им нечего спать... Да... Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего... Эй, ты! – крикнул Савелий в сени. – Ты, ямщик... как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!

И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.

– Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не тово... Спать не годится.

Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.

– А ехать же когда? – забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. – На то ведь она и почта, чтоб во благовремени поспевать, слышишь? Я провожу.

Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.

– Ну куда в такую погоду ехать! – услышал он мягкий женский голос. – Спали бы себе да спали на доброе здоровье!

– А почта? – встревожился Савелий. – Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился.

– Пять минуток еще бы можно поспать... – зевнул он. – Все равно опоздали...

– А может, как раз вовремя приедем! – послышался голос из сеней. – Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

– Помоги, что ль! – крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

– Чаю бы попили... – сказала она.

– Я бы ничего... да вот они собрались! – соглашался он. – Все равно опоздали.

– А вы останьтесь! – шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал наконец узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

– Какая у тебя... шея...

И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо...

– Фу, какая...

– Остались бы... чаю попили бы.

– Куда кладешь? Ты, кутя с патокой! – послышался со двора голос ямщика. – Поперек клади.

– Остались бы... Ишь как воеет погода!

И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда... все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге появился ямщик... Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье.

– Все готово! – сказал ямщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.

– Что же, садись, показывай дорогу! – услышала она.

Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся покраснелась. Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безыменного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала...

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

– Даром только ворожила: уехал! – сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.

– А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! – пробормотал он, съеживаясь калачиком.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

– Будет с тебя и места, – сказала она, – а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости господи!

– Ну, ну... Спи!

– Несчастливая я! – зарыдала дьячиха. – Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном все еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее...

– Ведьма! – негодовал он. – Тьфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка... подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала... Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.

– Отстань! – крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.

1886

Шуточка

Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один только раз! Уверю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение, и кажется – мы погибнем!

– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать всё тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит...

Я помогаю ей подняться.

– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня.

– Что? – спрашиваю я.

– Давайте еще раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес *те* слова? Он или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

– Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я.

– А мне... мне нравится это катанье, – говорит она краснея. – Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

– Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

– Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер... Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идет вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места... «Жжжж...» – жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург – надолго, должно быть навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями... Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она сама вышла – это все равно – за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...

1886

Мечты

Двое сотских – один чернобородый, коренастый, на необыкновенно коротких ножках, так что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чем у всех людей; другой длинный, худой и прямой, как палка, с жидкой бородашкой темно-рыжего цвета – конвоируют в уездный город бродягу, не помнящего родства. Первый идет вразвалку, глядит по сторонам, жует то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бедрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный; другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов, каких пишут на старинных образах; ему «за мудрость бог лба прибавил», то есть он плешив, что еще больше увеличивает помянутое сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго – Никандр Сапожников.

Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Брови у него жиденькие, взгляд покорный и кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за тридцать. Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового, с потертой ворсой пальтишка приподнят до самых краев фуражки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий. Говорит он заискивающим тенорком, то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью, это фанатик – монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий «жития мирна и безгрешна» и не находящий...

Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе, и клочок остается клочком. Мелькнет белый угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе – и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле... А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения.

Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени.

– Да ты православный? – спрашивает он.

– Православный, – кротко отвечает бродяга.

– Гм!... стало быть, тебя крестили?

– А то как же? Я не турок. И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Леригию я исполняю в точности...

– Ну, так как же тебя звать?

– А зови, как хочешь, парень.

Птаха пожимая плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сотский, Никандр Сапожников, солидно молчит. Он не так наивен, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает особняком, не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность.

– Бог тебя знает, как об тебе понимать надо, – продолжает приставать Птаха. – Мужик – не мужик, барин – не барин, а так, словно середка какая... Намеднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот, с палец, гадючку с зебрами и хвостом. Спервоначалу думал, что оно рыба, потом гляжу – чтоб ты издохла! – лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то черт его разберет, что оно такое... Так вот и ты... Какого ты звания?

– Я мужик, крестьянского рода, – вздыхает бродяга. – Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно, потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну а я плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили оне меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывести. Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили; им господа на платье подарят, а оне меня одевают... Хорошо жилось! Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий сызмальства внушили и так меня приспособили, что я теперя не могу никакого мужицкого, неделикатного слова сказать. И водки, парень, не пью, и одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья, а ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царствии твоём, идеже праведные упокоются!

Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением.

– Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! – говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским голосом. – Научи ее, господи, рабу твою Ксению, оправданием твоим! Ежели б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках, без всякого понятия! Теперя, парень, о чем меня ни спроси, я все понимаю:

и светское писание, и божественное, и всякие молитвы, и катихизисы. И живу по Писанию... Людей не забираю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремени. У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу...

– Чего ж ты плачешь?

– Пишут жалостно! За иную книжечку пятак дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.

– Отец твой помер? – спрашивает Птаха.

– Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитё. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика выйти...

– И на барины налетела, – усмехается Птаха.

– Не соблюли себя, это точно. Были оне благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили. Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только по званию я мужик, а в естестве благородный господин.

Говорит все это «благородный господин» тихим, слащавым тенорком, морща свой узенький лобик и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами.

Пройдя верст шесть, сотские и бродяга садятся на бугорке отдохнуть.

– Собака и та свою кличку помнит, – бормочет Птаха. – Меня знать Андрюшка, его – Никандра, у каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя! Никак!

– Кому какая надобность мое имя знать? – вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. – И какая мне от этого польза? Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперя я бродяга, не помнящий родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и тридцать не то сорок плетей дадут, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю!

– А нешто ты был в каторжной работе?

– Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил.

– За какое дело?

– За душегубство, добрый человек! Когда я еще мальчишкой был, этак годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину заместо соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать нетрудно...

Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит:

– Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа – дремучий лес! Может, по нечаянности, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил... Может, нарочно ему всыпали, бог знает! Мал я был тогда и не понимал всего... Теперь я помню, что барин действительно взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, нас потом года два судили... Маменьку осудили на каторгу на двадцать лет, меня за мое малолетство только на семь.

– А тебя за что?

– Как пособника. стакан-то барину я подавал. Всегда так было: маменька приготавливали соду, а я подавал. Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю, как перед Богом, вы никому не рассказывайте...

– Ну, нас и спрашивать никто не станет, – говорит Птаха. – Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?

– Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали, и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда Богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.

Бродяга снимает фуражку и крестится.

– А в Восточную Сибирь пушай ссылают, – говорит он, – я не боюсь!

– Нешто это лучше?

– Совсем другая статья! В каторге ты все равно что рак в лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести негде – сущий ад, такой ад, что и не приведи царица небесная! Разбойник ты, и разбойничья тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни Богу помолиться. А на поселении не то. На поселении перво-наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать... да-а! Земля там, рассказывают, нипочем, все равно как снег: бери сколько желаешь! Дадут мне, парень, землю и под пашню, и под огород, и под жилье... Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овец, собак... Кота сибирского, чтобы мыши и крысы добра моего не ели... Поставлю сруб, братцы, образов накуплю... Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут.

Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, задушевным тоном, что трудно не верить

им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а все лицо, и глаза, и носик застыли и отупели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят.

– Не боюсь я Сибири, – продолжает бормотать бродяга. – Сибирь – такая же Россия, такой же Бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой – видимо-невидимо! А мне, братцы, наипервейшее удовольствие – рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет – наметкой ловлю. Силы-то у меня нету, чтоб наметкой ловить, так я мужика за пятак нанимаю. И Господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или головля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечика. Все ведь это понимать надо! К примеру сказать, налим. Налим рыба неделикатная, она и ерша хватит, щука – пескаря любит, шилишпер – бабочку. Головля, ежели на быркном месте ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску саженой в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала, стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль – дерг! Только тут так норовить надо, чтоб он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил! Когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится, норовлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые – страсть! По берегу все леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку, и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать.

Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, по безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек; вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат; корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эхо, повторяющего каждый его шаг.

Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какую они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, бог знает!

Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит:

– Так-то оно так, все оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных мест. Где тебе? Верст триста пройдешь и Богу душу отдашь. Вишь, ты какой дохлый! Шесть верст прошел только, а никак отдышаться не можешь!

Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо сотского, по-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание... Все трое думают. Сотские

напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только Бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебная волокита, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студёные зимы, болезни, смерти товарищей...

Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается.

– И впрямь тебе не дойти! – соглашается Птаха. – Какой ты ходок? Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, брат!

– Известно, помрет! Где ему! – говорит Никандр. – Его и сейчас в гошпиталь положут... Верно!

Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили...

– Ну, пора идти, – говорит Никандр, поднимаясь. – Отдохнули!

Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха молчит.

1886

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

– Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, дерева, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или шей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой

моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видал в одной лавке на окно крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крикал, и мороз крикал, а глядя на них, и Ванька крикал. Выпало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

– Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом-Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубаше выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

1886

Письмо

Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик шестидесяти пяти лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине... Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность – в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованны и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

– Значит, вы нынче не поедете к себе домой? – спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

Отец Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

– Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

– Так... – зевнул благочинный. – А вы где остановились?

– У Зявкина.

Отец Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы

уйти, но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:

– Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне... рюмочку водочки!

– Не время теперь пить водку, – строго сказал благочинный. – Стыд надо иметь.

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

– Бог даст завтра выпьем, – сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. – Все хорошо вовремя.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полаты у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это – как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

– Отец Федор, вы не отдыхаете? – спросил из передней бас.

– Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во все темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

– Что скажешь хорошего? – спросил благочинный.

– Да что хорошего? – ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: – Малые дети – малое горе, большие дети – большое горе. Тут такая история, отец Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

– Нынче Николай Матвеич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

– Что же он тебе рассказывал?

– Встретил, бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться... «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну и слава богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В великий пост-то индейку? А?

– Удивительного мало, – сказал благочинный, насмешливо щуя глаза.

И, заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон Божий:

– Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо о. Федора и сказал:

– Дальше – больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сын с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире вместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчаная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

– Стало быть, в целомудрии живут! – захихикал о. Анастасий, сипло кашляя. – Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В воспитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе... (Анастасий закашлялся.)

– Не суйтесь, отец Анастасий, – строго сказал благочинный.

– Николай Матвеевич и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? – продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. – А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. О. Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению о. Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

– Что же ты хочешь? – спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. – Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

– Да что же я посеял, отец Федор? – тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

– А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх Божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

– Да разве я не наставлял, отец Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и Бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, отец Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «ходи в церковь», а он: «зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: «почему? зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Все на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничего же не знаете, папаша».

Отец Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:

– Не суйтесь, отец Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. О. Федору стало жаль его.

– Виноват ты, дьякон, виноват, – сказал он, но уже не так строго и горячо. – Умел родить, умеи и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

– А ведь мне же за него отвечать придется!

– То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благочинный и зевнул и вздохнул в одно и то же время, и спросил:

– Кто «Деяния» читает?

– Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:

– Отец Федор, что же мне теперь делать?

– Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.

– Ничего я не знаю, отец Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, отец Федор!

– Напиши ему письмо.

– Что же я ему писать буду?

– А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься.

– Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «почему? зачем? почему это грех?»

Отец Анастасий опять сиплю засмеялся и шевельнул пальцами.

– Почему? Зачем? Почему это грех? – визгливо заговорил он. – Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие Божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, – Анастасий хлопнул себя по лбу, – а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, действовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

– Не могу я ему писать! – вздохнул дьякон.

– Ты не можешь, так кто же может?

– Отец Федор! – сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. – Я человек необразованный, слабоумный, вас же господь наделил разумом и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что...

– Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

– Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

– Ну, пиши... Христос воскрес, любезный сын... знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далее в скобках... а из какого источника, тебя это не касается... скобка... Написал?... что ты ведешь жизнь несообразную ни с Божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское величие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сути своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокроуищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе

достаточно известны, скажу только, что причину твоей гибели вижу я в твоём неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо...

Все письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

– Дар, истинно дар! – сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. – Пошлет же господь такое дарование! А? Мать царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас господи!

Отец Анастасий тоже пришел в восторг.

– Без дара так не напишешь! – сказал он, вставая и шевеля пальцами. – Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, отец Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснялся сказать ему:

– Ну, дьякон, ступай с богом. Я с полчаса на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звездами. В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

– Сколько времени он диктовал? – изумлялся дьякон. – Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

– Образование! – вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. – Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

– А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает, и по-гречески знает... А Петруха, Петруха! – вдруг вспомнил дьякон. – Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие.

– Петр в переводе значит камень, – говорил он, подходя к своему дому. – Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насила, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит... к шутам ее на пасеку!

– А может, не она его держит, а он ее?

– Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

– Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!

– А что? – испугался дьякон.

– Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

– Как же так прощать? – спросил он. – Ведь я же за него Богу отвечать буду!

– Хоть и так, а все же прости. Право! А Бог за твою доброту и тебя простит.

– Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

– Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно...

Дьякон был вдов и жил в маленьком, трехоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходявшая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. О. Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно, вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

– Да, скоро разговляться, – сказал он. – Да... Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало... рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, – зашептал он, косясь на дверь, – что старушка... не услышит... ни-ни...

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

– Ну, письмо-о! – сказал он. – И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило... во!

– Знаешь, дьякон? Не посылай! – сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. – Прости, бог с ним! Я тебе... вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди, наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я... я, братушка, выпью... Последняя... Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почу-увствует! Я, брат... я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко... да!

Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

– Беда, дьякон, – вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить. – Беда! Во гресех родимя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру... Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью... Я...

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: все это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые голы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

– Не посылай! – сказал тот, махнув кистью руки.

– Нет, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на ум наставит. Не лишнее...

Дьякон достал из стола конверт, но прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говоровские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

Мальчики

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.

– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожая? Ан ты и приехал... Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за

чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

– Господи боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь... – тихо говорил Чечевицын... – оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.

– Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн Рида?

– Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

– А что это такое?

– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

– А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, – все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали!

Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедem! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

– Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

– Ты говори: поедешь или нет?

– Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.

– По... поеду.

– Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

– Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

1887

Каштанка

Глава первая Дурное поведение

Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял подмышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

– Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

– Чтоб... ты... из...дох... ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем – в геенне огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

– Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завывала. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завывала и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу – вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Глава вторая

Таинственный незнакомец

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из открытой двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепую жадностью она глотала неразжеванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завильяла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она вильяла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

– Эй ты, пес, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака

и выделял с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табак... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.